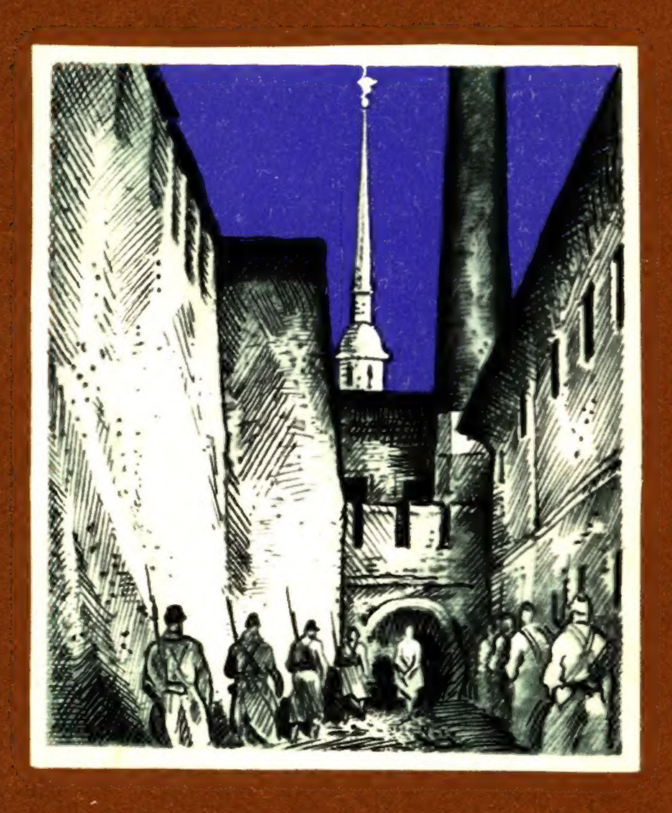
КНИГА ЗА КНИГОЙ



П. А. Кропоткин

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ. ПОБЕГ

Издательство „Детская литература"



П. А. КРОПОТКИН

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ. ПОБЕГ

Москва
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

9(С) 1
К83

ИЗДАНИЕ 5-е

К ЧИТАТЕЛЯМ

Мы предлагаем вам, ребята, книгу о мужественном поступке замечательного русского революционера Петра Алексеевича Кропоткина, о его побеге из царской тюрьмы в Петербурге.

П. А. Кропоткин сам рассказал об этом в своей интереснейшей книге «Записки революционера».

Когда вы станете старше, вы сможете прочесть её целиком. А пока что прочтите рассказ о побеге. Он вам, конечно, понравится.

Вступление, заключение, примечания и подготовка текста

Е. А. ТАРАТУТА

Рисунки О. КОРОВИНА

К $\frac{4803010101-029}{М101(03)83}$ 234—83

КАК КНЯЗЬ ПЕТР КРОПОТКИН ПОПАЛ В ТЮРЬМУ

Маленький Петя, еле сдерживая слёзы, нагнал в коридоре крепостного слугу Макара и, полный жалости к нему и сострадания, хотел поцеловать его руку.

Только что Макара по распоряжению Петиного отца высекли розгами.

Макар вырвал руку и сказал:

— Оставь меня; небось, когда вырастешь, и ты такой будешь?

— Нет, нет, никогда! — воскликнул мальчик.

И он сдержал своё слово.

Казалось, всё в детстве и юности князя Петра Кропоткина готовило его к тому, чтоб он вырос «такой» — грубый, жестокий, самодур, деспот, пресмыкающийся перед сильными, топчущий слабых.

Таким был его отец — богатый родовитый князь, генерал, владевший землями и людьми. Ему принадлежало 1200 душ. Тысяча двести крепостных мужчин с семьями — женщины за «души» не считались — находились в полной его власти. Они день и ночь работали на него. Он мог их продать, высечь, женить на ком захочет...

Родился Пётр Алексеевич Кропоткин в 1842 году в Москве. Зимой семья жила в своём московском особняке, летом в деревне, в своей дворянской усадьбе.

Сначала Петя учился в московской гимназии. По приказанию царя он был зачислен в самое привилегированное тогда учебное заведение — Пажеский его императорского величества корпус в Петербурге.

В Пажеском корпусе воспитывались будущие придворные — приближённые слуги царя. Воспитанникам Пажеского корпуса была обеспечена «блестящая карьера», как тогда говорили,— они могли стать министрами, генералами.

Но человек в любых условиях может оставаться человеком.

С детских лет Кропоткин сознательно стремился к тому, чтобы стать человеком. Не господином, не рабом — человеком.

Он никогда не помыкал другими, но и никогда не позволял помыкать собой.

Отстаивать своё достоинство было нелегко. Но ему помогала память о матери. Она умерла, когда он был ещё совсем маленький, но крепостные любили её, помнили её и рассказывали о ней Пете. Ему помогал старший брат. Ему помогал умный учитель, хорошие книги.

Но главным было его собственное, его личное стремление быть человеком. Никогда, ни на одну минуту не забывать об этом.

Свои решения не откладывал на будущее, когда станет большим и сильным. Нет, ещё мальчиком, в Пажеском корпусе, он всегда отстаивал своё достоинство.

Однажды ночью, когда он ещё был новичком, старшие ученики потребовали, чтоб он встал и караулил в коридоре, пока они будут курить. Их было много, они были уже почти взрослые юноши и намного сильнее Пети. Но он отказался. Его жестоко избили, но Петя всё равно не подчинился им.

Так же Кропоткин не позволял и преподавателям обижать себя — он всегда давал отпор несправедливым придиркам и заставлял уважать себя.

Учился он прекрасно, никогда не зубрил и всегда стремился самостоятельно разобраться в явлениях природы и событиях жизни разных народов.

Как первый ученик, Пётр Кропоткин был назначен камер-пажом самого царя и часто бывал во дворце.

Но роскошь придворной жизни оставалась ему чуждой — он всегда помнил о нищете тружеников, о русском народе.

После окончания Пажеского корпуса Кропоткин уехал в Сибирь, отказавшись от «блестящей карьеры». Он решил работать для улучшения жизни народа. Но очень скоро он понял, что, пока в России существует самодержавие, народ будет бедствовать и его личные усилия ни к чему не приведут.

Кропоткин вернулся в Петербург, поступил в университет и занялся наукой. За несколько лет он стал крупным учёным — геологом и географом. Но скоро он снова понял, что никакие научные открытия не принесут счастья народу, пока в России правит царь.

И князь Пётр Кропоткин, богатый наследник отцовских земель, сделал для себя единственный вывод — надо бороться с самодержавием, надо его свергнуть.

Так Пётр Алексеевич Кропоткин стал революционером.

Он сблизился с кружком самой передовой молодёжи того времени. Хотя мысли и действия их были ошибочны, но они любили свой народ и готовы были отдать жизнь за его счастье.

В этом кружке были замечательные люди. Имена многих из них впоследствии стали известны во всём мире.

Софья Перовская организовала покушение на царя Александра II и погибла на виселице.

Николай Морозов при царской власти более двадцати пяти лет просидел в тюрьме, а при Совет-

ской власти стал видным учёным, почётным членом Академии наук СССР.

Сергей Кравчинский стал известным писателем, под псевдонимом «Степняк», и создал прекрасные книги о русских революционерах — «Домик на Волге», «Подпольная Россия», «Андрей Кожухов» и другие...

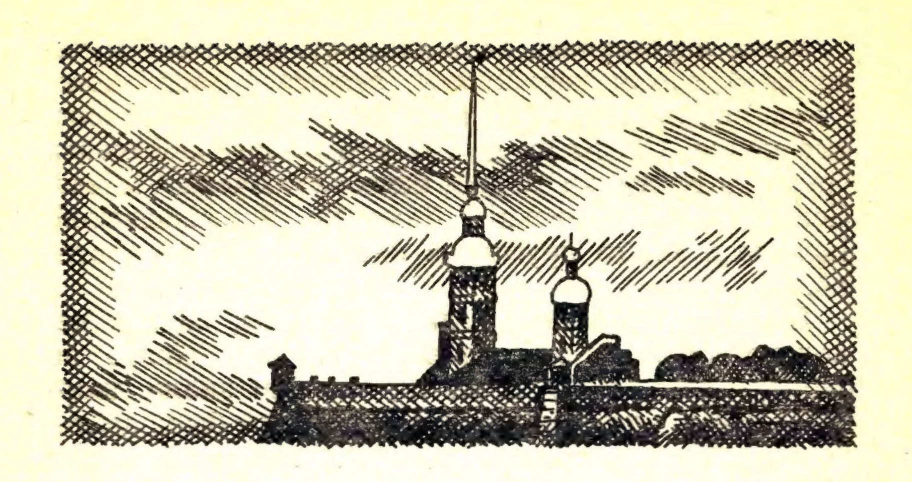
А тогда вместе со своими товарищами по кружку Пётр Кропоткин рассказывал рабочим Петербурга о социализме, о том, как люди в других странах бьются за свои права, за справедливое устройство жизни, и призывал бороться против царя.

Отказавшись от богатства, от карьеры, от любимой науки, ведя беседы в тёмных и душных лачугах, пробуждая сознание людей, их стремление бороться за своё достоинство, Кропоткин считал, что нашёл своё счастье,— он жил так, как велели ему совесть, ум, сердце.

...В марте 1874 года царская полиция выследила П. А. Кропоткина. Его арестовали и посадили в тюрьму.

Вот что рассказал об этом сам Пётр Алексеевич в своих воспоминаниях.

Евгения Таратута



ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ[1]

Итак, я был в Петропавловской крепости, где за последние два века гибли лучшие силы России. Самоё её имя в Петербурге произносилось вполголоса.

Со времён Петра I, в продолжении ста семидесяти лет, летописи этой каменной громады, возвышающейся из Невы против Зимнего дворца, говорят только об убийствах, пытках, о заживо погребённых, осуждённых на медленную смерть или даже доведённых до сумасшествия в одиночных, мрачных, сырых казематах.

---

[1] В Петропавловской крепости царское правительство строило тюрьму для особо важных преступников. Тюремные помещения — казематы — были расположены в зданиях внутри крепости — в Алексеевском равелине и в Трубецком бастионе, в котором и сидел П. А. Кропоткин в камере № 52.

Здесь перетерпели начальные стадии своей мученической жизни декабристы, первые развернувшие у нас знамя республики и уничтожения крепостного права. Следы их до сих пор можно ещё найти в русской Бастилии[1]. Здесь были заключены Рылеев, Шевченко, Достоевский, Бакунин, Чернышевский, Писарев и много других из наших лучших писателей.

В том же равелине, гласила молва, сидело несколько человек, заключённых на всю жизнь по приказу Александра II за то, что они знали дворцовые тайны, которых другие не должны были знать. Одного из них, старика с длинной бородой, видел в таинственной крепости один из моих знакомых.

Все эти тени восставали в моём воображении; но мои мысли останавливались в особенности на Бакунине[2], который, хотя и просидел два года на цепи, прикованный к стене, в австрийской крепости после 1848 года и потом, выданный русскому правительству, прожил ещё шесть лет в Алексеевском равелине, вышел, однако, из тюрьмы после смерти железного деспота[3] более энергичным, чем многие его товарищи, которые всё это время пробыли на свободе. «Он выжил всё это,— говорил я самому себе,— так и я не поддамся тюрьме».

---

[1] Петропавловскую крепость называли русской Бастилией. Бастилия — государственная тюрьма в Париже, разгромленная восставшим народом во время Великой французской революции.

[2] Известный русский революционер М. А. Бакунин после заключения в Петропавловской крепости был выслан в Сибирь, откуда в 1861 году бежал за границу и принял участие в международном революционном движении.

[3] Железным деспотом называли русского царя Николая I.

МОЙ КАЗЕМАТ

Первым движением моим было подойти к окну. Оно было прорезано в виде широкого, низкого отверстия в двухаршинной толстой стене на такой высоте, что я едва доставал до него рукой. Оно было забрано двумя железными рамами со стёклами и, кроме того, решёткой. За окном, саженях в пяти, я видел перед собою внешнюю крепостную стену необыкновенной толщины; на ней виднелась серая будка часового. Только глядя вверх, мог я различить клочок неба.

Я тщательно осмотрел камеру, в которой, быть может, мне предстояло провести несколько лет. По положению высокой трубы Монетного двора я догадался, что моя камера находится в юго-западном углу крепости, в бастионе, выходящем на Неву. Здание, в котором я сидел, было, однако, не бастионом, а то, что в фортификации[1] называют «редюит», то есть внутреннее, пятиугольное, двухэтажное каменное здание, поднимающееся несколько над стенами бастиона и заключающее два этажа пушек. Моя комната была казематом, предназначавшимся для большой пушки, а окно — его амбразура[2]. Солнечные лучи никогда не проникали туда. Даже летом они терялись в толще стены. Меблировку составляли железная кровать, дубовый столик и такой же табурет. Пол был покрыт густо закрашенным войлоком, а стены оклеены жёлтыми обоями. Чтобы заглушить звуки, обои были, однако, наклеены не непосредственно на стену, а на полотно, под которым я открыл проволочную сетку, за ней слой войлока. Только под ним мне удалось нащупать камень. У внутренней стены стоял

---

[1] Фортификация *(лат.)* — наука об укреплении войсковых позиций и способах защиты.

[2] Амбразура — отверстие в толстой каменной стене, сделанное откосом с расширением внутрь здания.

умывальник. В толстой дубовой двери было прорезано запиравшееся квадратное отверстие, чтобы подавать через него пищу, и продолговатый глазок со стеклом, закрывавшийся с наружной стороны маленькою заслонкою. Через этот глазок часовой, стоявший в коридоре, мог видеть во всякое время, что делает заключённый. Действительно, он часто поднимал заслонку глазка, причём сапоги его жестоко скрипели всякий раз, как он по-медвежьи подкрадывался к моей двери. Я пробовал заговорить с ним, но тогда глаз, который я видел сквозь стёклышко, принимал выражение ужаса, и заслонка немедленно опускалась. И через минуту или две я опять слышал скрип, но никогда я не мог добиться ни слова от часового.

Кругом царила глубокая тишина. Я придвинул табуретку к окну и стал смотреть на клочок неба. Тщетно старался я уловить какой-нибудь звук с Невы или из города на противоположном берегу. Мёртвая тишина начинала давить меня. Я попробовал петь, вначале тихо, потом всё громче и громче. «Ужели мне во цвете лет любви сказать: прости навек»,— пел я из «Руслана и Людмилы»[1].

— Господин, не извольте петь! — раздался густой бас из-за двери.

— Я хочу петь и буду.

— Петь не позволяется,— басил солдат.

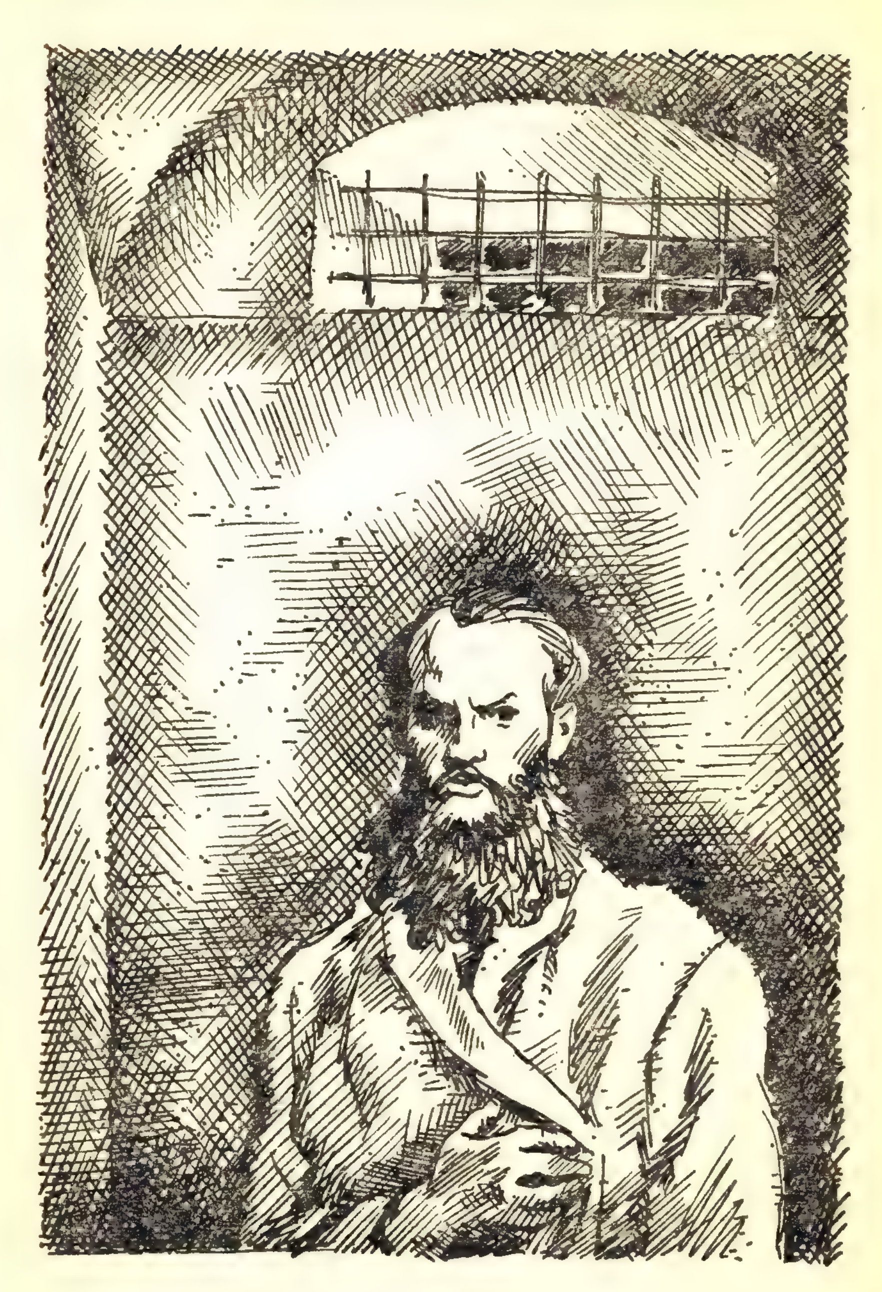
— А я всё-таки буду.

Тогда явился смотритель, начавший убеждать меня, что я не должен петь, так как об этом он вынужден будет доложить коменданту крепости, и так далее.

— Но у меня засорится горло и лёгкие отучатся действовать, если я не буду ни говорить, ни петь,— пробовал убеждать я.

---

[1] «Руслан и Людмила» — опера великого русского композитора М. И. Глинки (1804—1857).



Моя комната была казематом.

— Уж вы лучше пойте вполголоса, про себя,— просил старый смотритель.

Но в просьбе не было надобности. Через несколько дней у меня пропала охота петь. Я пробовал было продолжать пение из принципа, но это ни к чему не привело.

«Самое главное,— думал я,— сохранить физическую силу. Я не хочу заболеть. Нужно себе представить, что предстоит провести несколько лет на севере, во время полярной экспедиции. Буду делать много движения, гимнастику,— не надо поддаваться обстановке. Десять шагов из угла в угол уже не худо. Если пройти полтораста раз, вот уже верста». И я решил делать ежедневно по семи вёрст: две версты утром, две — перед обедом, две — после обеда и одну перед сном. «Если положить на стол десять папирос и передвигать одну, проходя мимо стола,— думал я,— то легко сосчитаю те триста раз, что мне надо пройти взад и вперёд. Ходить надо скоро, но поворачивать в углу медленно, чтобы голова не закружилась, и всякий раз в другую сторону. Затем дважды в день буду проделывать гимнастику с моей тяжёлой табуреткой». Я поднимал её за ножку и держал на вытянутой руке, затем вертел её колесом и скоро научился перебрасывать её из одной руки в другую, через голову, за спиной и между ногами.

Через несколько часов после того, как меня привезли, явился смотритель и предложил кое-какие книги.

Я попросил, конечно, письменные принадлежности, но мне наотрез отказали. Перья и чернила никогда не выдаются в крепости иначе как по специальному разрешению самого царя.

В крепости от нескольких поколений заключённых накопилась целая библиотека.

Было даже несколько книг, оставшихся от декабристов, и одна из них попалась мне, и я с чувством

благоговения читал какое-то туманное мистически-философское сочинение, которое было в руках этих первых мучеников борьбы против самодержавия в нашем веке, отыскивая каких-нибудь следов — имён или разговоров — в старинной книге. Все книги были, между прочим, до того исчерчены ногтем, что трудно было до чего-нибудь добраться.

Многим заключённым только в тюрьме и удаётся читать спокойно, без перерыва, серьёзные книги. Попадая рано в круговорот кружковой жизни и политической агитации, большинству революционеров только и удаётся читать толстые книги в тюрьме.

Вообще где же молодому рабочему учиться, если не в тюрьме! Но и большинству молодых студентов только в тюрьме удалось прочесть многое и познакомиться основательно с историей.

Итак, с первого же дня в крепости было что читать. Но я так привык писать, творить из прочитанного, что одно чтение не могло меня удовлетворить.

Я стал составлять в уме очерки из русской истории для народа. Придумывал завязку, лиц, события, разговоры, главу за главой, и, ходя из угла в угол, повторял себе эти написанные в уме главы.

Такая усиленная мозговая работа скоро довела бы мой мозг до истощения, если бы, благодаря тому же бесценному, милому брату Саше, мне не позволили месяца через два-три засесть за письменную работу.

СВИДАНИЕ С БРАТОМ

Когда меня арестовали, Саша был в Цюрихе. С юношеских лет он стремился из России за границу, где люди могут думать, что хотят, свободно выражать свои мысли, читать, что хотят, и могут открыто высказывать свои мысли.

К агитации среди народа в России он не пристал.

Атмосфера, царившая в то время в России среди интеллигентных слоёв, была ему противна. Главной чертой его характера были глубокая искренность и прямодушие. Он не выносил обмана в какой бы то ни было форме. Отсутствие свободы слова в России, готовность подчиниться деспотизму, «эзоповский язык»[1], к которому прибегали русские писатели,— всё это до крайности было противно его открытой натуре. Побывав в литературном кружке «Отечественных записок» [2], он только мог укрепиться в своём презрении к литературным представителям и вожакам интеллигенции. Всё ему было противно в этих людях: и их покорность, и их любовь к комфорту, которая для него не существовала, и их легкомысленное отношение к великой политической драме [3], готовившейся в то время во Франции.

Вообще русскою жизнью, где и думать, и говорить нельзя, и читать приходится только то, что велят, он страшно тяготился. Думал он найти в Петербурге волнующуюся, живую, умственную среду, но её не было нигде, кроме молодёжи; а молодёжь либо рвалась в народ, либо принадлежала к типу самолюбующихся говорунов, довольных своим полузнанием и решающих самые сложные общественные вопросы на основании двух-трёх прочитанных книг — всегда в ту сторону, что с такой «невежественною толпою ничего не поделаешь».

Когда я попал за границу и писал из Швейцарии восторженные письма о жизни, которую я там нашёл,

---

[1] Эзоповским языком называют иносказательную речь (по имени греческого баснописца Эзопа).

[2] «Отечественные записки» — литературно-политический журнал, издававшийся в Петербурге.

[3] Кропоткин имеет в виду Парижскую коммуну 1871 года, когда впервые в мире рабочие захватили власть в свои руки. Буржуазия уничтожила Коммуну с неслыханной жестокостью.

и о климате, и о здоровых детях, он решил перебраться в Швейцарию. После смерти обоих детей — чудного, приветливого, умного и милого Пети, унесённого в двое суток холерою, когда ему было всего три года, и Саши, двухмесячного очаровательного ребёнка, унесённого чахоткою,— Петербург ещё более ему опостылел. Он оставил его и переехал в Швейцарию, в Цюрих, где тогда жило множество студентов и студенток, а также жил Пётр Лаврович Лавров [1], которого Саша был большим почитателем.

Итак, Саша жил в Цюрихе, не намереваясь возвращаться вовсе в Россию, когда до него дошла весть о моём аресте.

Он всё бросил: и работу, и вольную жизнь, которую любил, и вернулся в Россию помогать мне пробиться в тюрьме.

Шесть месяцев спустя после моего ареста мне дали с ним свидание. В мою камеру принесли моё платье и предложили одеться.

— Зачем? Куда идти?

Никто не отвечал на слова. Затем попросили пройти к смотрителю, где меня ждал грузин — жандармский офицер; потом через ворота, а за воротами ждала карета. «В Третье отделение» [2] — вот чего я добился от офицера.

Выехать из крепости, прокатиться по городу — и то уже был праздник, а тут ещё повезли по Невскому.

Едучи, я всё строил планы, как бы сбежать. Офицер дремал в своём углу. Вот бы потихоньку отворить дверцы кареты, выпрыгнуть и на всём скаку вскочить в карету к какой-нибудь барыне, проезжаю-

---

[1] Лавров П. Л. (1823—1900) —известный русский революционер, учёный, философ, вынужден был бежать за границу, там издавал журнал «Вперёд».

[2] Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии было тогда в России высшей государственной полицией и фактически властвовало над страной.

щей на рысаках. Ускакать от погони было бы не трудно. Настоящая барыня, впрочем, ни за что не примет, но какая-нибудь из барынь полусвета, пожалуй, не откажется увезти, если я вскочу к ней в коляску и взмолюсь.

Ну, словом, пофантазировать не мешает. Гораздо серьёзнее было, если бы кто-нибудь подъехал к карете, держа запасную лошадь в поводу. Тут можно было бы ускакать.

В Третьем отделении я застал Сашу. Нам дали свидание в присутствии двух жандармов.

Мы оба были очень взволнованы. Саша горячился и много ругал жандармов ворами. «Они всё у тебя украли: я не нашёл в твоих бумагах таких-то документов, таких-то бумаг». Все эти бумаги за несколько часов до моего ареста я препроводил в такое место, где бы жандармы не могли их найти. Я старался дать ему понять это, шепча на всех языках: «Оставь это!» Он не унимался. «Да нет, я не хочу этого оставить: я разыщу документы». Насилу мне удалось шепнуть по-французски, что бумаги взяты не жандармами.

Саша поднял на ноги всех наших учёных знакомых в Географическом обществе и Академии наук, чтобы добыть мне право писать в крепости. Перо и бумага строго запрещены в крепости, но если Чернышевскому и Писареву было позволено писать, то на это требовалось особое разрешение самого царя.

Саша принялся хлопотать через всех учёных знакомых. Географическому обществу хотелось получить мой отчёт о поездке в Финляндию, но оно, конечно, и пальцем бы не двинуло, чтобы получить разрешение мне писать, если бы Саша не шевелил всех. Академия наук была также заинтересована в этом деле.

Наконец разрешение было получено, и в один прекрасный день ко мне вошёл смотритель Богородский,

говоря, что мне разрешено писать мой учёный отчёт и что мне нужно составить список книг, которые мне нужны. Я написал полсотни книг, и он пришёл в ужас. «Столько книг ни за что не пропустят,— говорил он,— а вы напишите книг пять — десять, а потом понемногу будете требовать, что вам нужно». Я так и сделал и наконец получил книги, перо и бумагу. Бумага мне выдавалась по столько-то листов, и я должен был счётом иметь её у себя в полном комплекте; перо же, чернила и карандаши выдавались только до «солнечного заката».

Солнце зимою закатывалось в три часа. Но делать было нечего. «До заката» — так выразился Александр II, давая разрешение.

И В КРЕПОСТИ Я РАБОТАЮ

Итак, я мог снова работать.

Трудно было бы выразить, какое облегчение я почувствовал, когда снова мог писать. Я согласился бы жить всю жизнь на хлебе и воде, в самом сыром подвале, только бы иметь возможность работать.

Я был, однако, единственный заключённый в крепости, которому разрешили письменные принадлежности. Некоторые из моих товарищей, которые провели в заключении три года и даже больше, имели только грифельные доски. Конечно, в страшном уединении крепости они рады были даже доске и исписывали её словами изучаемого иностранного языка или математическими формулами. Но каково писать, зная, что всё будет стёрто через несколько часов!

Моя тюремная жизнь приняла теперь более правильный характер. Было нечто непосредственно наполнявшее жизнь. К девяти часам утра я уже кончал мои первые две версты и ждал, покуда мне принесут

карандаши и перья. Работа, которую я приготовил для Географического общества, содержала, кроме отчёта о моих исследованиях в Финляндии, ещё обсуждение основ ледниковой гипотезы[1]. Зная теперь, что у меня много времени впереди, я решил вновь написать и расширить этот отдел. Академия наук предоставила в моё распоряжение свою великолепную библиотеку. Вскоре целый угол моей камеры заполнился книгами и картами, включая сюда полное издание шведской геологической съёмки, почти полную коллекцию отчётов всех полярных путешествий. Моя книга в крепости разрослась в два больших тома. Первый из них был напечатан братом и моим другом Поляковым[2] (в «Записках» Географического общества); второй же, не совсем оконченный, остался в Третьем отделении после моего побега. Рукопись нашли только в 1895 году и передали Русскому географическому обществу, которое и переслало её мне в Лондон.

В пять часов вечера, а зимой в три, как только вносили крошечную лампочку, перья и карандаши у меня отбирались, и я должен был прекращать работу. Тогда я принимался за чтение, главным образом книг по истории. Прочёл я также много романов и даже устроил себе род праздника в сочельник. Мои родные прислали мне тогда рождественские рассказы Диккенса. И весь праздник я то смеялся, то плакал над этими чудными произведениями великого романиста.

---

[1] Ледниковая гипотеза — предположение учёных о том, что бóльшая часть земли была когда-то покрыта вечными льдами, передвигавшимися с севера на юг.

[2] Поляков И. С. — друг П. А. Кропоткина. Был учителем в Сибири, с помощью Кропоткина поступил в университет и окончил его; стал учёным, зоологом.

ТЮРЕМНАЯ ЖИЗНЬ

Хуже всего было полное безмолвие вокруг, невозможность перекинуться словечком с кем бы то ни было. Мёртвая тишина нарушалась только скрипом сапог часового, подкрадывающегося к «иуде»[1], да звоном часов на колокольне. Я понимаю, что нервного человека этот звон может доводить до отчаяния. Каждые четверть часа колокола звонят «господи помилуй», раз, два, три, четыре раза. Каждый час после медленного перезвона колокол начинает мерно отбивать часы, а затем начинается перезвон «Коль славен наш господь в Сионе»; зимою, при резких переменах температуры, все колокола отчаянно фальшивят, и эта какофония[2], точно похоронный перезвон в монастыре, длится добрых пять-шесть минут. А в двенадцать, после всего этого, часы отзванивают ещё более фальшиво «Боже, царя храни». Днём всё это хоть немного заглушается городским шумом, но ночью весь этот звон как будто тут, где-то вблизи, и, слушая бой колоколов каждые четверть часа, невольно думаешь о том, как прозябание узника идёт бесплодно вдали от всех, вдали от жизни. «Ещё час, ещё четверть часа твоего бесплодного прозябания прошли»,— напоминают колокола, и никто не знает, даже сам, кто тебя здесь держит, сколько ещё пройдёт таких бесплодных часов, дней, годов... много годов, может быть, раньше, чем вспомнят тебя выпустить, или болезнь и смерть откроют тебе двери тюрьмы...

Мёртвая тишина кругом...

Напрасно пробовал я стучать в подоконницу направо — нет ответа, налево — нет ответа. Напрасно стучал я полною силою разутой пятки в пол в надеж-

---

[1] Иудой называли небольшое отверстие в двери камеры, через которое стражник наблюдал за заключённым.

[2] Какофония — неблагозвучное, режущее слух сочетание звуков.

де услыхать хоть какой-нибудь, хоть издалека, неясный ответный гул — его не было ни в первый месяц, ни во второй, ни в первый год, ни в половине второго.

Меня перевели в нижний этаж, покуда верхний чистили или переделывали. Ещё меньше света проникало там в каземат, и неба вовсе не было видно; только грязная серая стена из дикого камня стояла перед глазами, и даже голуби не прилетали к окну. Ещё темнее было мне чертить свои карты, и только мои крепкие близорукие глаза могли выдерживать мелкую работу на маленьких картах, которые я готовил для своего отчёта.

Но и там, внизу, ниоткуда не мог я добиться хотя бы глухого стука в ответ на мой стук.

Каждый день, если дождь не лил или пурга не мела, меня выводили гулять. Часов около одиннадцати являлся унтер в мягких войлочных галошах сверх сапог и вносил мою одежду: панталоны, сюртук, сапоги, шубу. Я торопился одеться и радовался, если успевал пройти десяток раз из угла в угол — лишь бы услыхать звук своих собственных шагов...

Если я спрашивал крепостного унтера, приносившего платье, хороша ли погода, нет ли дождя, он испуганно взглядывал на меня и уходил, не отвечая: караульный солдат и унтер из караула стояли в дверях и не спускали глаз с крепостного унтера, готовые сфискалить, если бы он заговорил со мною.

Затем меня вели гулять. Я выходил во внутренний дворик редута[1], где стояла банька и прохаживались два солдатика из караула. Я пытался с ними заговорить, но они молчали.

Я ходил, ходил вкруговую по тротуарику пятиугольного дворика и изо дня в день видел всё то же и то же. Изредка воробей залетал в этот дворик; иногда, когда вокруг ветер был с той стороны,

---

[1] Р е д у т *(франц.)* — означает убежище; сомкнутое квадратное сооружение.



Оба сторожа и унтер бросились ко мне:
«Пожалуйте на тротуар».

тяжёлые хмурые пары́, выходящие из высокой трубы Монетного двора, окутывали наш дворик, и все начинали отчаянно кашлять. Иногда, очень редко, видел я девушку, должно быть, дочь смотрителя, выходившую из его крыльца и проходившую шагов десять по тротуару в ворота, которые тотчас запирали за нею, затем слышался стук другой отпертой калитки — стало быть, она вышла. Она выходила обыкновенно из своей квартиры тогда, когда я был на другой стороне дворика; а если я слышал звонок у калитки и она выходила во дворик, возвращаясь домой, её пропускали тоже так, чтобы не встретиться. И она торопилась пройти, не смея взглянуть, как бы стыдясь быть дочерью нашего смотрителя.

Ещё на праздниках я несколько раз видел кадетика лет пятнадцати — сына смотрителя. Он всегда так ласково, почти любовно смотрел на меня, что, когда я бежал, я сказал товарищам, что мальчик, наверное, симпатично относится к заключённым. Действительно, я узнал потом, в Женеве, что едва он вышел в офицеры, он присоединился, кажется, к партии «Народная воля», помогая переписке между революционерами и заключёнными в крепости; затем его арестовали и сослали в Восточную Сибирь, в Тунку.

Ещё помню я, что летом около бани выросло несколько цветов; голые, худосочные, они всё-таки пробились сквозь камни мощёного дворика на южной стороне бани, и, увидав их, я сошёл с тротуарика и подошёл к ним. Оба сторожа и унтер бросились ко мне: «Пожалуйте на тротуар». Я подошёл к цветкам. Все три стража уставились на меня, стоя вокруг меня,— всё удовольствие было испорчено, и я более не стал подходить к цветам.

Вот одно, другое, третье... десятое... пятнадцатое решётчатое окно... а вот опять первое...— только и было разнообразия в этом дворике. Раз или два залетел воробей, и это было событие.

И я ходил и обыкновенно глаз не спускал с

золочёного шпица Петропавловского собора. Он один менялся изо дня в день, то горя ярким золотом под лучами солнца, то скрывая свой блеск под дымчатою пеленою серого лёгкого тумана, то хмурясь, когда тёмные свинцовые облака ползли в зимнюю пору над Невою, и шпиц темнел, поднимаясь в небо стальной иглой.

«Этак и счёт дням потеряешь»,— говорил я себе и с первого же дня сделал себе календарь.

У меня были две пары очков, одни для письма, другие для улицы, и одна пара была в кожаном футляре, разграфлённом квадратными линиями на ромбики. Я сосчитал: их было на обеих сторонах более сотни. Каждый мог сойти за неделю, и, ложась спать, я ножом выдавливал каждый день палочку поперёк ромба. Я знал, таким образом, день недели и число.

Большие праздники мне напоминала пушечная пальба, начинавшаяся из пушек нашего бастиона. Один раз началась пальба не в назначенный день и час. Я с трепетом прислушивался — не будет ли сто один выстрел: может быть, царь умер. Но оказалось всего тридцать один выстрел: значит, в царской семье прибавился новорождённый.

Раз тоже ветер страшно выл на крыше и в щели окон, и раздался пушечный выстрел. Стало быть, наводнение,— и воображение рисовало, конечно, известную картину, изображающую княжну Тараканову, на которую взбираются крысы из заливаемого каземата.

Пришла зима, и пришли тяжёлые, тёмные, сумрачные дни. Каземат топили так жарко, что я задыхался. Иногда он наполнялся угаром... Я звонил, просил открыть вьюшку, но это делали неохотно, и трудно было этого добиться.

По вечерам в каземате бывало жарко, как в натопленной бане, и также чувствовалось, что воздух полон парами. Я просил, настаивал, чтобы не топили так жарко, и, как только заслышу, что закрыва-

ют трубу, упрашиваю, требую, чтобы не закрывали.

— Сыро у вас будет, очень сыро,— предупреждал полковник, но я предпочитал сырость этой жаркой, натопленной и угарной атмосфере и добился, чтобы печь не закрывали так рано.

Тогда наружная стена стала становиться совсем мокрою. На обоях показалась сырость, что дальше, то больше, и, наконец, жёлтые полосатые обои стали совсем мокрые, точно на них каждый день выливали кувшины воды. Но выбора не было, и я предпочитал эту сырость жаре, от которой у меня разбаливалась голова.

Зато ночью я сильно страдал от ревматизма. Ночью вдруг температура в каземате сразу понижалась. По полу шёл ток холодного воздуха, и сразу сырость в каземате становилась как в погребе. Как бы жарко ни было натоплено, ток холодного воздуха шёл по коридору, врывался в каземат, пары сгущались. И у меня начинали жестоко ныть колени. Одеяла были лёгкие, но и никакие одеяла бы не помогли: всё пропитывалось сыростью — борода, простыни,— и начиналась «зубная боль» в костях. Ещё в Сибири раз, возвращаясь осенью вверх по Амуру, на пароходе, на узенькой койке, и не имея запасной одежды, чтобы отгородиться от железной наружной стенки парохода, я нажил ревматизм в правом колене. Теперь в крепостной сырости колени отчаянно ныли.

Я спрашивал смотрителя, откуда этот внезапный холод, и он обещался зайти ночью — и зашёл раз ночью совершенно пьяный. Впоследствии, в Николаевском госпитале, караульные солдаты говорили мне, что смотритель с ними пьянствовал и по ночам. Вероятно, караульные и выходили проветриться и оттого по коридору несло холодным воздухом.

Единственная человеческая речь, которую я слышал, была по утрам, когда смотритель заходил ко мне.

— Здравствуйте. Не нужно ли чего купить?

— Да, пожалуйста, четверть фунта табаку и сотню гильз.

— Больше ничего?

— Нет, ничего.

Только и было разговора. Я сам набивал папиросы. «Всё-таки занятие»,— посоветовал смотритель с первого же дня.

Я продолжал бегать свои семь вёрст по каземату, делал свои двадцать минут гимнастики, но зима брала своё. Становилось всё темнее и темнее: иногда, когда небо было сумрачное, и в два часа ничего не было видно, а в десять часов утра в каземате бывало ещё совсем темно.

Мрачно становилось на душе в эти тёмные дни; а когда показывалось солнце, оно и не доходило до каземата, и лучи его терялись в толщине стены, освещая какой-нибудь уголок амбразуры.

АРЕСТ БРАТА

Мрачные зимние дни скучны в Петербурге, если сидеть в комнате, не выходя на людные, освещённые улицы. Ещё скучнее и мрачнее они в крепостном каземате. А тут ещё нахлынуло горе: Сашу арестовали.

Он приехал ко мне на свидание с Леною[1] в день моих именин, 21 декабря[2]. Он не хотел пропустить

---

[1] Лена — старшая сестра П. А. Кропоткина.

[2] Свидания, даваемые через долгие промежутки, всегда приводят заключённых и их родных в состояние сильного возбуждения Арестованный видит дорогие ему лица, слышит милые голоса и знает, что всё это исчезнет через несколько минут. Он чувствует себя так близко и в то же время так далеко от них, так как интимной беседы не может быть в присутствии постороннего человека, врага и шпиона. Мы расстались с тяжёлым сердцем. *(Примечание П. А. Кропоткина.)*

этого дня и добился свидания в этот день. Я хотел передать ему записку обычным способом, но его записка встретилась с моею, и моя упала на пол. Я в ужас пришёл. Это было в минуту прощанья. Тут присутствовал только смотритель. Надо было выходить. Я вышел с Леною, Саша остался. Я нарочно взял Лену в руки, держа её крепко, стоя у окна, и смотритель стоял тут же, пока Саша искал записку, крошечный коричневый свёрточек на полу. Наконец он вышел и ответил мне кивком головы: «Нашёл».

Мы расстались. Но тяжело было у меня на душе.

Через несколько дней я должен был получить от брата письмо касательно печатания книги. Письма не было. Я чувствовал что-нибудь неладное, и начались для меня дни ужасных тревог. «Арестовали»,— думал я, и молчание, всё более и более подозрительное, как свинцом, давило меня.

Через неделю после свидания, вместо ожидаемого письма от брата с сообщением о печатании моей книги, я получил короткую записку от Полякова. Он уведомлял меня, что с этих пор корректуру будет читать он и поэтому я должен сноситься с ним обо всём касающемся печатания. Я тотчас же понял, что с братом случилось недоброе. Если бы он заболел, Поляков так и написал бы. Для меня наступили теперь тяжёлые дни. Александра, наверно, заарестовали, и я причина этому. Жизнь утратила для меня всякий смысл. Прогулки, гимнастика, работа потеряли всякий интерес. Весь день я бесцельно шагал взад и вперёд по камере и не мог думать ни о чём другом, как только об аресте брата. Для меня, одинокого человека, заключение означало только личное неудобство; но Александр был женат, страстно любил жену и имел теперь сына, на которого не мог надышаться. Родители сосредоточили на этом мальчике всю ту любовь, которую питали к двум детям, умершим три года тому назад.

Хуже всего была неизвестность. Что такое мог он сделать? Почему его арестовали? К чему они его присудят? Проходили недели. Моя тревога усиливалась; новостей не было никаких. Наконец окольным путём я узнал, что Александра арестовали за письмо к П. Л. Лаврову.

Подробности я узнал гораздо позже. После свидания со мной Александр написал письмо своему старому приятелю Петру Лавровичу Лаврову, издававшему в то время в Лондоне «Вперёд». В письме он выражал своё беспокойство по поводу моего здоровья, говорил о многочисленных арестах и открыто высказывал свою ненависть к русскому деспотизму. Третье отделение перехватило письмо на почте и послало, как раз в сочельник, произвести обыск у брата, что жандармы и выполнили даже с ещё большей грубостью, чем обыкновенно. После полуночи полдюжины людей ворвались в его квартиру и перевернули вверх дном решительно всё. Они ощупывали стены и даже больного ребёнка вынули из постели, чтобы обшарить бельё и матрац. Они ничего не нашли, да и нечего было находить. Мой брат был сильно возмущён этим обыском. С обычной откровенностью он заявил жандармскому офицеру, производившему осмотр: «Против вас, капитан, я не могу питать неудовольствия: вы получили такое ничтожное образование, что едва понимаете, что творите. Но вы, милостивый государь,— обратился он к прокурору,— вы знаете, какую роль играете во всём этом. Вы получили университетское образование. Вы знаете закон и знаете, что попираете сами закон, какой он ни на есть, и прикрываете вашим присутствием беззаконие вот этих людей. Вы, милостивый государь, попросту мерзавец».

Они возненавидели брата и продержали его в Третьем отделении до мая. Ребенок Александра, прелестный мальчик, которого болезнь сделала ещё более нежным и умным, умирал от чахотки. Доктора

сказали, что ему остаётся жить всего несколько дней. Брат, никогда не хлопотавший у врагов ни о какой милости, просил разрешить ему повидаться последний раз с ребёнком; он просил отпустить его на полчаса домой, на честное слово или под конвоем. Ему не разрешили. Жандармы не могли отказать себе в этой мести.

Ребёнок умер. Мать его снова чуть не погибла от нервного удара. В это время брату объявили, что его сошлют в Минусинск: повезут его туда в кибитке с двумя жандармами, а что касается жены, то она может следовать потом, но не должна ехать теперь вместе с мужем.

«Скажите же мне, наконец, в чём моё преступление?» — требовал брат. Но никаких обвинений, кроме письма, против Александра не было. Ссылка казалась всем таким произволом, она до такой степени была актом личной мести со стороны Третьего отделения, что никто из наших родственников не допускал, чтобы она могла продолжаться больше чем несколько месяцев. Брат подал жалобу министру внутренних дел. Тот ответил, что не может вмешиваться в постановление шефа жандармов. Подана была другая жалоба сенату, и тоже без последствий.

Года два спустя по собственной инициативе наша сестра Елена подала прошение царю. Мой двоюродный брат Дмитрий, харьковский генерал-губернатор и флигель-адъютант Александра II, большой фаворит при дворе, лично вручил прошение, прибавив несколько слов от себя. Он был глубоко возмущён действием Третьего отделения. Но мстительность составляет фамильную черту Романовых, и в Александре II она была особенно развита. На прошение царь ответил: «Пусть посидит!» Брат пробыл в Сибири двенадцать лет и уже больше не возвратился в Россию.

МОИ СОСЕДИ

Бесчисленные аресты, произведённые летом 1874 года, и тот серьёзный характер, который полиция придала намерениям нашего кружка, произвели глубокую перемену в воззрениях русской молодёжи. До тех пор главной её задачей было выбирать из рабочих, а также иногда из крестьян отдельных людей, чтобы подготовлять из них социалистических агитаторов. Но теперь фабрики были наводнены шпионами, и стало очевидно, что, во всяком случае, и пропагандистов и рабочих скоро заберут и навсегда упрячут в Сибирь. Тогда великое движение «в народ» приняло новый характер. Сотни молодых людей, пренебрегая всеми предосторожностями, которые принимались до тех пор, устремились в провинцию. Странствуя по городам и деревням, они подстрекали народ к бунту и почти открыто распространяли революционные брошюры, песни и прокламации. В наших кружках это время прозвали «безумным летом».

Жандармы потеряли голову. Не хватало рук, чтобы ловить, и глаз, чтобы выслеживать каждого революционера в его хождении из губернии в губернию. Тем не менее около полутора тысяч человек было арестовано во время этой великой травли, и половину их продержали в тюрьмах несколько лет.

Результаты массовых арестов скоро почувствовались и у нас, в Трубецком бастионе Петропавловской крепости. Он начал заселяться вновь прибывающими узниками.

Раз, летом 1875 года, я ясно расслышал в соседней с моею камере лёгкий стук каблуков, а несколько минут спустя я уловил и отрывки разговора. Женский голос слышался из каземата, а в ответ ему ворчал густой бас, должно быть, часового. Вскоре вслед за тем послышался звон шпор полковника, поспешные его шаги, ругательства по адресу часового и щёлканье ключа в замке. Полковник сказал что-то.

— Мы вовсе не разговаривали,— раздался в ответ женский голос.— Я просила только позвать унтер-офицера, а часовой отказывался.

Дверь опять заперли, и я слышал, как полковник вполголоса честил часового.

Итак, я был уже не один. У меня была соседка, которая сразу нарушила строгую дисциплину, связывавшую до тех пор солдат[1]. С этого дня крепостные стены, которые были немы пятнадцать месяцев, ожили. Со всех сторон я слышал стук ногой о пол: один, два, три, четыре... одиннадцать ударов, двадцать четыре удара, пятнадцать. Затем пауза; после неё — три удара и долгий ряд тридцати трёх ударов. В том же порядке удары повторялись бесконечное число раз, покуда сосед догадывался, что они означают вопрос: «Кто вы?» Таким образом «разговор» завязался и вёлся затем по сокращённой азбуке, придуманной ещё декабристом Бестужевым. Азбука делится на шесть рядов, по пяти букв в каждом. Каждая буква отмечается своим рядом и своим местом в ряду.

К великому моему удовольствию, я открыл, что с левой стороны сидел мой друг Сердюков, с которым мы вскоре могли перестукиваться обо всём, в особенности, употребляя наш шифр.

Однако беседы с людьми в тюрьме приносят не только свои радости, но и свои горести. Подо мной сидел крестьянин, по фамилии Говоруха, знакомый Сердюкова, с которым он перестукивался. Против моей воли, часто даже во время работы я следил за

---

[1] Впоследствии, в Цюрихе, я познакомился с этой соседкой по крепости. Это была Платонова. Каюсь, от одного того, что мы просидели в крепости стена об стену, я сразу почувствовал к ней некоторую нежность. В Цюрихе Платонова была с одним кавказцем, с которым и вернулась в Россию. Кавказец был арестован, а что сталось с Платоновой и была ли это её настоящая фамилия, я не знаю. *(Примечание П. А. Кропоткина.)*

их переговариванием. Я тоже перестукивался с ним. Но если одиночное заключение без всякой работы тяжело для интеллигентных людей, то гораздо более невыносимо оно для крестьянина, привыкшего к физическому труду и совершенно неспособного читать весь день подряд. Наш приятель-крестьянин чувствовал себя очень несчастным. Его привезли в крепость после того, как он посидел уже два года в другой тюрьме, и поэтому он был уже надломлен. Преступление его состояло в том, что он слушал социалистов. К великому моему ужасу, я стал замечать, что крестьянин порой начинает заговариваться. Постепенно его ум всё больше затуманивался, и мы оба с Сердюковым замечали, как шаг за шагом, день за днём он приближался к безумию, покуда разговор его не превратился в настоящий бред. Тогда из нижнего этажа стали доноситься дикие крики и страшный шум. Наш сосед помешался, но его тем не менее ещё несколько месяцев продержали в крепости, прежде чем отвезли в дом умалишённых, из которого несчастному не суждено уже было выйти. Присутствовать при таких условиях при медленном разрушении человеческого ума — ужасно. Я уверен, это обстоятельство содействовало увеличению нервной раздражительности моего милого Сердюкова. Когда после четырёх лет заключения суд оправдал его и его выпустили, он застрелился.

НЕОЖИДАННЫЙ ВИЗИТ

Раз мне нанесли неожиданный визит. В мою камеру, в сопровождении только адъютанта, вошёл брат Александра II , великий князь Николай Николаевич, осматривавший крепость. Дверь захлопнулась за ним. Он быстро подошёл ко мне и сказал: «Здравствуй, Кропоткин». Он знал меня лично и говорил фамильярным, благодушным тоном, как со старым знакомым.

— Как это возможно, Кропоткин, чтобы ты, камер-паж, бывший фельдфебель, мог быть замешан в таких делах и сидишь теперь в этом ужасном каземате?

— У каждого свои убеждения,— ответил я.

— Убеждения? Так твоё убеждение, что нужно заводить революцию?

Что мне было отвечать? Сказать «да»? Тогда из моего ответа сделали бы такой вывод, что я, отказавшийся давать какие бы то ни было показания жандармам, «признался во всём» брату царя. Николай Николаевич говорил тоном начальника военного училища, пытающегося добиться «признания» от кадета. И в то же время я не мог ответить «нет». То была бы ложь; я не знал, что сказать, и молчал.

— Вот видишь! Самому тебе стыдно теперь...

Это замечание разозлило меня, и я ответил довольно резко:

— Я дал свои показания судебному следователю на допросах: мне нечего прибавлять.

— Да ты пойми, Кропоткин,— сказал тогда Николай Николаевич самым благодушным тоном,— я говорю с тобой не как судебный следователь, а совсем как частный человек. Совсем как частный человек,— прибавил он, понизив голос.

Мысли вихрем кружились у меня в голове. Сыграть роль маркиза Позы?[1] Передать царю через посредство его брата о разорении России, об обнищании крестьян, о произволе властей, о неминуемом страшном голоде? Сказать, что мы хотели помочь крестьянам выйти из их отчаянного положения, придать им бодрости? Попытаться таким образом повлиять на Александра II? Мысли эти мелькали одна за другой у меня в голове. Наконец я сказал самому себе: «Никогда! Это — безумие. Они всё это

---

[1] Маркиз Поза́ — благородный герой драмы немецкого писателя Ф. Шиллера «Дон Карлос».



Он пытался добиться от меня «признаний»...

знают. Они враги народа, и такими речами их не переделаешь».

Я ответил, что он для меня всегда остаётся официальным лицом и что я не могу смотреть на него как на частного человека. Николай Николаевич стал тогда задавать мне всякие безразличные вопросы:

— Не в Сибири ли от декабристов ты набрался таких взглядов?

— Нет. Я знал только одного декабриста и с тем никогда не вёл серьёзных разговоров.

— Так ты набрался их в Петербурге?

— Я всегда был такой.

— Как! Даже в корпусе? — с ужасом переспросил он меня.

— В корпусе я был мальчиком. То, что смутно в юности, выясняется потом, когда человек мужает.

Он задал мне ещё несколько подобных вопросов, и по его тону я ясно понимал, к чему он ведёт. Он пытался добиться от меня «признаний», и я живо представил себе мысленно, как он говорит своему брату: «Все эти прокуроры и жандармы — дураки. Кропоткин им ничего не отвечал, но я поговорил с ним десять минут, и он всё мне рассказал». Всё это начинало меня бесить. И когда Николай Николаевич заметил мне нечто вроде: «Как ты мог иметь что-нибудь общее со всеми этими людьми, с мужиками и разночинцами?» — я грубо отрезал: «Я вам сказал уже, что дал свои показания судебному следователю». Он резко повернулся на каблуках и вышел.

Впоследствии часовые, гвардейские солдаты, сложили целую легенду по поводу этого посещения. Товарищ (известный доктор О. Э. Веймар[1]), приехавший потом во время моего побега в пролётке, чтобы освобождать меня, был в военной фуражке. Светлые бакенбарды придавали ему слабое сходство с Николаем Николаевичем. И вот среди петербургского гар-

---

[1] См. сноску на стр. 52.

низона пошла тогда легенда, что меня увёз сам великий князь. Таким образом, легенды могут складываться даже в век газет и биографических словарей.

НА ДОПРОСАХ

Два года прошло, а наше дело не подвигалось. Два года предварительного заключения, во время которых много заарестованных сошло с ума или покончило самоубийством.

Всё новых и новых социалистов хватали по всей России, а число их не убывало. Новые люди приставали к движению, оно проникало в новые сферы, захватывая всё большие и большие массы людей. Движение «в народ» разрасталось. Пример — Н. Н. Ге. Большой художник в полной силе таланта, окружённый славой за свои картины, бросает Петербург в 1878—1879 годах и едет в Малороссию[1], говоря, что теперь не время писать картины, а надо жить среди народа, в него внести культуру, в которой он запоздал против Европы на тысячу лет, у него искать идеалов — словом, делать то, что делали тысячи молодых людей.

Председателем следственной комиссии был жандармский полковник Новицкий — человек чрезвычайно деятельный, умный и, если бы не его жандармская деятельность, даже приятный человек: ничуть не злой в душе.

Раз меня привели к нему. Он усадил меня в кресло, предложил своих папирос, от которых я отказался, закурив свою, и показал мне мою рукопись. Это был написанный мною конец к брошюре «Пугачёвщина» Тихомирова[2]. Рядом была наша брошюрка, напе-

---

[1] Малороссия — так тогда называли Украину.

[2] Член кружка «чайковцев» Л. А. Тихомиров написал брошюру «Емельян Пугачёв» для пропаганды в народе идей социализма. По решению кружка П. А. Кропоткин написал к этой брошюре новый конец.

чатанная в Цюрихе уже после моего ареста. Я очень ей обрадовался: «Ах, покажите, пожалуйста, я её ещё не видел».

Он принялся читать по моей рукописи, предлагая мне следить по печатной брошюрке, очень мило отпечатанной хорошим чётким шрифтом без опечаток. Новицкий читал отлично и понемногу стал увлекаться, картина вольных общин, соединённых вольными союзами, владеющих всей землёй, без попов, господ и чиновников, управляющихся вечем[1] и вступающих в союз, как средневековые общины, была набросана довольно увлекательно, и Новицкий читал с жаром, увлекаясь всё более и более.

Вдруг он прервал со смехом и обратился ко мне:

— Да неужели, князь, вы верите, что всё это возможно среди нашей русской тьмы? Всё это прекрасно, чу́дно, но ведь на это надо двести лет по крайней мере.

— А хоть бы и триста.

— Итак, вы признаёте, что это ваша рукопись?

— Конечно.

— И это с неё отпечатано?

— Сами видите.

— Мне только нужно было вам это показать. Вы можете, если хотите, вернуться.

— Да,— ответил я,— всё это прекрасно, великолепно, а пока пожалуйте в крепость.

Он переконфузился... встал провожать меня в дверях, протягивая мне руку, которую я не взял, опять пустился в излияния:

— Ах, князь, я уважаю вас, глубоко уважаю за ваш отказ давать показания. Но если бы вы только знали, какой вред вы себе делаете. Я не смею говорить, но одно говорю — у-жас-ный.

Я пожал плечами и вышел.

[1] Вече — от слова «вещать», говорить. Народное собрание в Древней Руси, высший орган власти в некоторых русских городах X—XV вв.

Через несколько времени меня опять позвали ещё раз, последний, в следственную комиссию. В дверях показался прокурор Масловский, перекинулся взглядом с Новицким и выбежал.

У Новицкого на столе лежало моё письмо, взятое на мне в момент ареста, с двумя паспортами. Это была коротенькая записка шифром, в которой я писал в Москву: «Вот вам два паспорта, передайте их такто». Я не успел её отправить, когда был арестован. При аресте я не отказывался, конечно, что она написана моей рукой.

— Вот,— начал он,— ваша записка, отобранная у вас два года тому назад. Она написана шифром, и я даю вам моё честное и благородное слово, что ключ к шифру найден на одном из ваших товарищей (он был найден у Войнаральского, которому кто-то из кружка, вопреки всем уговорам, дал его, хотя Войнаральский и не был членом кружка, и Войнаральский записал его в свою записную книжку. Масса писем, писанных этим шифром, была уже в руках Третьего отделения). Замечу, кстати, что хотя наш шифр был самый простейший и хотя эксперты хвастают, что они разбирают всякие шифры, но, прежде чем ключ был найден у Войнаральского, ни одного письма они не прочли.

— Если вы знаете ключ, так зачем же вы меня спрашиваете?

— Даю вам честное слово, что мы знаем его, но мы хотели спросить вас.

— Совершенно напрасно. Удивляюсь, как вы, умный человек, не поняли, что не стоило меня беспокоить из-за такого вопроса. Вы же знаете, что я вам никогда ключа не открою.

— Да...— бормотал он,— вот и перевод вашей записки...

— И читать его не намерен. Записка — моя, перевод — ваш. Если вы думаете, что перевод верен,— на здоровье. Не моё дело его проверять.

— Да, я знал, я предвидел, конечно, но долг службы...

— И желание выслужиться? Да? Ну, прощайте.

Когда я встал, вбежал Масловский, должно быть подслушивавший у дверей.

— Ну, что?

— Я говорил вам, что напрасно было тревожить князя. Конечно, он ничего не знает...

— Ах, князь...— начал было он опять, провожая меня в коридор.

— Прощайте,— сказал я и вышел со своей сворой конвойных. Тем и кончились мои допросы.

Расскажу уже заодно, что, когда я был в доме предварительного заключения, куда меня перевели в марте или апреле в 1876 году, говорили, что теперь дело передано в суд и скоро мы будем судиться.

Меня потребовали к прокурору судебной палаты, некоему Шубину. Меня провели внутренним ходом из тюрьмы в здание суда, и там у стола сидел прокурор Шубин и писарь. Кипы исписанных фолиантов[1] лежали на столе.

Я никогда не видел человека противнее этого маленького прокурора Шубина. Лицо бледное, измождённое; большие очки на подслеповатых глазах; тоненькие злющие губы; волосы неопределённого цвета; большая квадратная голова на крошечном теле. Я сразу, поговорив с ним о чём-то, возненавидел его.

Шубин объяснил мне, что теперь предварительное следствие закончено и дело передано судебному ведомству. Теперь он обязан показать мне все имеющиеся против меня показания.

Их оказалось немного.

Один из заводских — один из кружка в тридцать пять человек — показал, что я бывал у рабочих и чи-

---

[1] Фолиант — объёмистая книга большого формата.

тал им лекции революционного содержания. Это был один юноша — не назову его, так как он, кажется, просто проболтался. Его приводили раз, кажется к Новицкому, на очную ставку. Меня спросили, читал ли я лекции рабочим. Я ответил, что никаких показаний давать не буду. Тогда в комнату ввели белокурого, конфузящегося молодого человека.

— Я вас не знаю,— сказал я очень резко, как только он переступил порог, не давши времени прокурору произнести полслова.

Молодой человек переконфузился.

— Я не знаю, не помню, я, кажется, их видел... Не помню,— забормотал он.

— Я вас не знаю, никогда не видал! — крикнул я на него.

Он ещё больше сконфузился, и прокурор, видя, что он готов отказаться от показаний, поторопился его вывести.

Сцена не продолжалась и двух минут.

Так вот, было его показание, что бывали у них лекции и на этих лекциях бывал я.

Потом ещё одно показание Егора — пустого-таки мужика, который околачивался около тех двух ткачей; он показал, что я бывал у них и говорил, что мужикам худо без земли и надо землю отобрать у помещиков. Затем были два показания двух ткачей, что я говорил им, что надо всех долой и что царя надо убить... Егор и другой (забыл имя) были шпионами.

Всё это была чистейшая выдумка, так как вся система наша, и особенно моя, была тогда такова, что нам до царя никакого нет дела, а поднимется крестьянский бунт, так царь, пожалуй, ещё сам убежит к немцам; что суть не в царе, а в том, кто землёй владеет. Но с этими двумя ткачами я и в разговоры не пускался, так как познакомился с ними, когда они промотали восемь рублей, данные им на наём квартиры, за что я их порядком поругал.

Увидя такое показание, я сразу понял, что оно продиктовано следователями, известно, с какой целью.

— Ну, этаких свидетелей я вам по двадцать пять рублей сколько хотите найду,— сказал я.

— А кто же это, позвольте спросить,— зашипел Шубин,— будет им платить?

Я подумал секунду.

— Вы,— сказал я, видя его злобное лицо, и ткнул в его направление пальцем.

Он просто *позеленел* от злости. Не то что побледнел или пожелтел, нет, так-таки зелёным стал.

Я продолжал просматривать, что ещё будет против меня. Протоколы о программе, писанной моей рукой, о конце «Пугачёвщины» — тоже моя рукопись, которую бог знает зачем берегли товарищи, о шифрованном письме.

— Ничего больше?

— Вот ещё,— подсунул писарь другое толстейшее дело, заложенное бумажками.

Показания заводских, что они не помнят, чтобы я говорил против царя.

И показание милейшего Якова Ивановича[1]: «Таких речей не слыхал, а что Бородин[2] сильно бранил такого-то и такого-то (обоих ткачей) за то, что они промотали деньги, данные им, чтобы нанять квартиру, точно помню; сильно бранил: не мотайте, мол, денег попусту».

— Только?

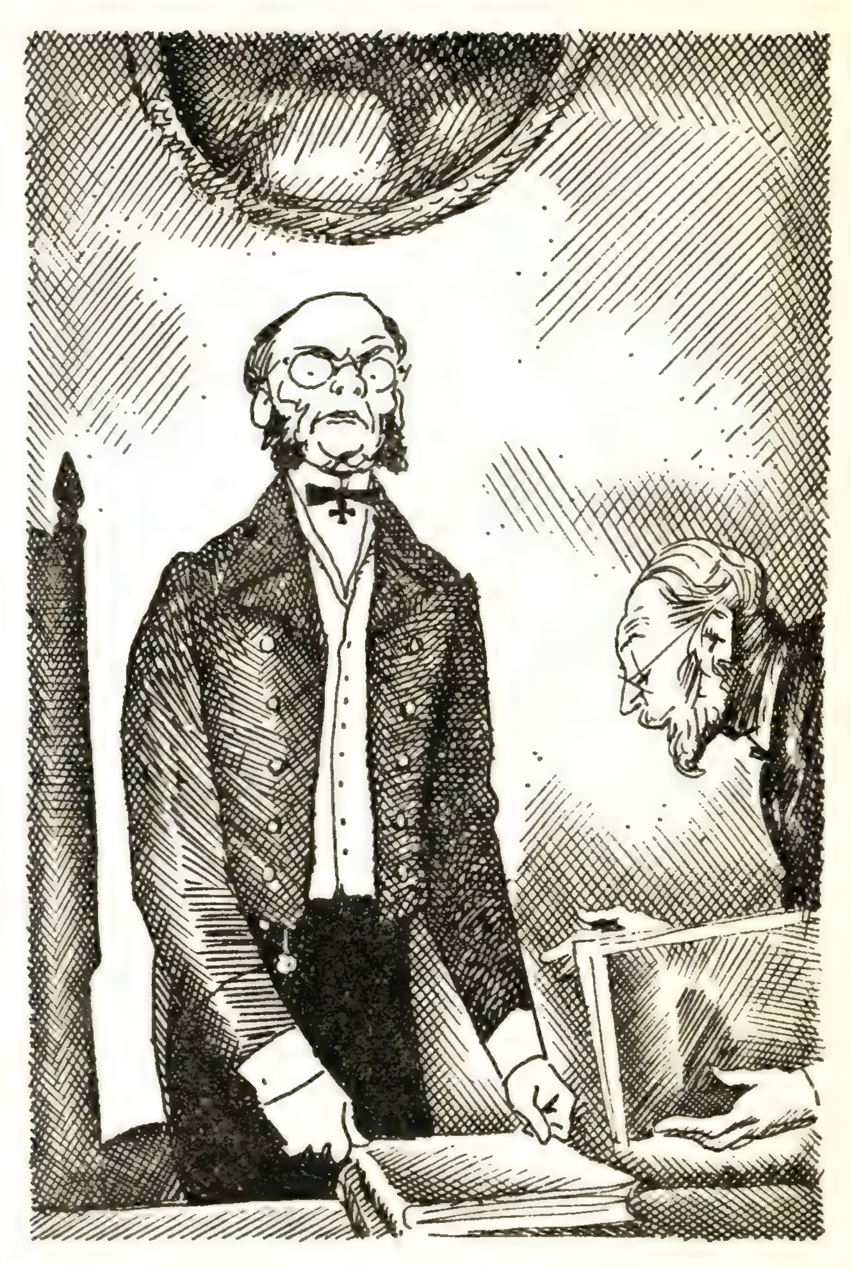
— Только.

Я взял перо и на подложенном листе написал крупным почерком, что никаких показаний до суда давать не намерен.

---

[1] Яков Иванович — петербургский ткач, член рабочего кружка, организованного «чайковцами».

[2] Бородин — под этим именем П. А. Кропоткин выступал в рабочих кружках.



«Вот ещё»,— подсунул писарь другое толстейшее дело...

ИЗ КРЕПОСТИ В ГОСПИТАЛЬ

А годы шли, и мы всё сидели в крепости.

Вот уже два года прошло; несколько человек умерло в крепости, несколько сошло с ума, а о суде ничего не было слышно.

Моё здоровье тоже пошатнулось в конце второй зимы. Табуретка становилась тяжела в руке, делать мои семь вёрст мне становилось всё труднее и труднее. Я крепился, но «арктическая зимовка», без подъёма сил летом, брала своё. У меня уже раньше были признаки цинги: раз весною она объявилась у меня в слабой степени в Петербурге. Должно быть, я вывез её из сибирских путешествий на одном хлебе, а петербургская жизнь и усиленная работа в маленькой комнатке не способствовали полному избавлению.

Теперь, во тьме и сырости каземата, да ещё при усиленной мозговой работе, признаки цинги становились яснее: желудок беспрестанно отказывался переваривать пищу. К тому же на прогулку меня выводили теперь только на двадцать минут или четверть часа, через два дня. В короткие зимние дни за пять-шесть часов успевали выпустить всего двадцать человек в день, а нас, заключённых, было свыше шестидесяти человек.

В марте или апреле 1876 года нам наконец сообщили, что Третье отделение закончило предварительное дознание. Дело перешло к судебным властям, и потому нас перевели в дом предварительного заключения — в тюрьму, примыкающую к зданию суда.

«Предварительная», как её называли,— громадная, показная четырёхэтажная тюрьма, выстроенная по типу французских и бельгийских образцовых тюрем. Ряды маленьких камер все имеют по окну, выходящему во двор, и по двери, открывающейся на железный балкон. Балконы же различных этажей соединены железными лестницами.

Для многих моих товарищей перевод в «Предварилку» явился большим облегчением. Здесь было гораздо больше жизни, чем в крепости, больше возможности переписываться и переговариваться; легче было добиться свидания с родственниками. Перестукивание продолжалось беспрерывно целый день. Подобным путём я даже изложил одному молодому соседу всю историю Парижской коммуны от начала до конца. Нужно прибавить, однако, что я выстукивал мою историю целую неделю. Что касается здоровья, то в доме предварительного заключения мне стало ещё хуже, чем в крепости. Я не выносил спёртого воздуха крошечной камеры. Как только паровое отопление начинало действовать, температура из леденящей становилась невыносимо жаркой. Камера имела только четыре шага по диагонали, и когда я начинал ходить, то приходилось беспрестанно поворачиваться; голова начинала кружиться через несколько минут, а короткая прогулка в маленьком дворике, окружённом высокими каменными стенами, нисколько не освежала меня. Что касается тюремного врача, который не желал даже слышать слова «цинга» в «его тюрьме», то лучше о нём совсем не говорить. Кончилось тем, что я вовсе не мог переваривать даже лёгкой пищи.

Мне разрешили получать пищу из дому, так как недалеко от суда жила одна моя свояченица, вышедшая замуж за адвоката. Но моё пищеварение стало так плохо, что я съедал в день только кусок хлеба да одно или два яйца. Силы мои быстро падали, и, по общему мнению, мне оставалось жить несколько месяцев. Чтобы подняться до моей камеры, находившейся на втором этаже, я должен был раза два отдыхать на лестнице. Помню, как-то раз старый солдат-часовой жалостливо заметил: «Не дожить тебе, сердечному, до осени».

Родственники мои сильно встревожились. Сестра Лена пробовала хлопотать, чтобы меня выпустили

на поруки; но прокурор Шубин ответил ей с сардонической усмешкой: «Доставьте свидетельство от врача, что брат ваш умрёт через десять дней, тогда я его освобожу». Прокурор имел удовольствие видеть, как сестра упала в кресло и громко разрыдалась в его присутствии. Мои родные, однако, добились того, чтобы меня осмотрел хороший доктор, профессор, ассистент Сеченова[1]. Он осмотрел меня самым тщательным образом и пришёл к заключению, что у меня нет никакой органической болезни, но что страдаю я главным образом от недостатка окисления крови.

— Всё, что вам нужно, это — воздух,— заключил он. Он колебался несколько минут, затем сказал решительно: — Что там толковать! Вы не можете оставаться здесь. Вас необходимо перевести.

Дней через десять после этого меня действительно перевели в находившийся тогда на окраине Петербурга Николаевский военный госпиталь, при котором имеется небольшая тюрьма для офицеров и солдат, заболевших во время нахождения под следствием. В эту тюрьму перевели уже двух моих товарищей, когда стало очевидно, что они скоро умрут от чахотки.

В госпитале я начал быстро поправляться. Мне дали просторную комнату в нижнем этаже, рядом с караульной. В ней было громадное, забранное решёткой окно, выходившее на юг, на маленький бульвар, обсаженный двумя рядами деревьев, а за бульваром тянулось большое открытое пространство, где несколько десятков плотников строили тогда бараки для тифозных больных. По вечерам они обыкновенно пели хором, и так согласно, как только поют в больших плотничьих артелях. По бульварчику взад и вперёд ходил часовой; его будка стояла против моего окна.

---

[1] Сеченов И. М. (1822—1905) — великий русский учёный-физиолог.

Окно оставалось открыто весь день, и я упивался солнечными лучами, которых не видал так давно. Всей грудью вдыхал я ароматный майский воздух. Моё здоровье быстро поправлялось, слишком даже быстро, по моему мнению. Скоро я был в состоянии переваривать лёгкую пищу, силы мои окрепли, и с обновлённой энергией я принялся снова за работу. Не видя возможности закончить второй том моего труда, я написал короткое, но довольно обстоятельное, в виде тезисов, изложение не оконченных ещё глав, которое и было приложено к первому тому.

ПОДГОТОВКА К ПОБЕГУ

В крепости я слышал от товарища, сидевшего одно время в госпитальной тюрьме, что оттуда мне будет нетрудно бежать. Я сообщил, конечно, друзьям, где нахожусь; сообщил и свои надежды. Побег оказался, однако, гораздо более трудным делом, чем меня уверяли. За мной учреждён был самый бдительный, беспримерный до того времени надзор. У моих дверей поместили часового, и мне никогда не позволяли выходить в коридор. Госпитальные солдаты и караульные офицеры, которые иногда входили ко мне, боялись, по-видимому, оставаться со мной более одной или двух минут.

Мои друзья составили несколько планов освобождения, и в том числе проекты весьма забавные. По одному из них, например, я должен был подпилить решётку в окне. Затем предполагалось, что, когда в дождливую ночь часовой задремлет в своей будке, два моих приятеля подползут сзади и опрокинут её. Таким образом, солдат не будет ранен, но просто пойман, как мышь в мышеловке. В это время я должен был выпрыгнуть из окна...

Но неожиданно явилось лучшее разрешение вопроса.

— Попроситесь на прогулку! — шепнул мне раз один из солдат.

Я так и сделал. Доктор поддержал меня, и мне разрешили ежедневно в четыре часа выходить в тюремный двор на прогулку на один час. Я должен был носить всё-таки зелёный фланелевый больничный халат, но мне выдавали мои сапоги, панталоны и жилет.

Никогда я не забуду мою первую прогулку. Когда меня вывели и я увидал перед собою заросший травою двор, в добрых триста шагов в глубину и шагов двести в ширину,— я просто замер. Ворота были отперты, и сквозь них я мог видеть улицу, громадный госпиталь напротив и даже прохожих... Я остановился на крылечке тюрьмы и оцепенел на мгновение при виде этого двора и ворот. У одной из стен двора стояла тюрьма — узкое здание, шагов полтораста в длину, с будками для часовых на обоих концах. Оба часовых ходили взад и вперёд вдоль здания и таким образом вытоптали тропинку в траве. По этой тропинке мне и велели гулять, а часовые тем временем продолжали ходить взад и вперёд, так что один из них был всегда не дальше как шагах в десяти или пятнадцати от меня.

На противоположном конце громадного двора, обнесённого высоким забором из толстых досок, несколько крестьян сбрасывали с возов дрова и складывали их в поленницы вдоль стены. Ворота были открыты, чтобы впускать возы.

Эти открытые ворота производили на меня чарующее впечатление. «Не надо глядеть на них»,—говорил я самому себе и тем не менее всё поглядывал в ту сторону. Как только меня опять ввели в комнату, я тотчас же написал друзьям, чтобы сообщить им благую весть. «Я почти не в силах шифровать,— писал я дрожащей рукой, выводя непонятные значки вместо цифр.— От этой близости свободы я дрожу как в лихорадке. Они меня вывели сегодня во двор. Ворота отперты, и возле них нет часового. Через эти ворота

я убегу. Часовые не поймают меня». И я набросал план побега. «К воротам госпиталя подъезжает дама в открытой пролётке. Она выходит, а экипаж дожидается её на улице, шагах в пятнадцати от моих ворот. Когда меня выведут в четыре часа на прогулку, я некоторое время буду держать шляпу в руках; этим я даю сигнал тому, который пройдёт мимо ворот, что в тюрьме всё благополучно. Вы должны мне ответить сигналом: «Улица свободна». Без этого я не двинусь. Я не хочу, чтобы меня словили на улице. Сигнал можно подать только звуком или светом. Кучер может дать его, направив своей лакированной шляпой светового «зайчика» на стену главного больничного здания; ещё лучше, если кто-нибудь будет петь, покуда улица свободна; разве если вам удастся нанять серенькую дачу, которую я вижу со двора, тогда можно подать сигнал из окна. Часовой побежит за мной, как собака за зайцем, описывая кривую, тогда как я побегу по прямой линии. Таким образом я удержу свои пять-шесть шагов расстояния. На улице я прыгну в пролётку, и мы помчимся во весь опор. Если часовой вздумает стрелять, то тут ничего не поделаешь. Это — вне нашего предвиденья. Ввиду неизбежной смерти в тюрьме — стоит рискнуть».

Было сделано несколько других предложений; но в конце концов этот проект приняли. Наш кружок принялся за дело. Люди, которые никогда не знали меня, приняли участие, как будто дело шло о дорогом им брате. Предстояло, однако, преодолеть массу трудностей, а время мчалось с поразительной быстротой. Я усиленно работал и писал до поздней ночи; но здоровье моё улучшалось тем не менее с быстротой, которая приводила меня в ужас. В первый раз, когда меня вывели во двор, я только мог ползти по тропинке по-черепашьи. Теперь же я окреп настолько, что мог бы бегать. Правда, я по-прежнему продолжал ползти медленно, как черепаха, иначе мои прогулки

прекратились бы; но моя природная живость могла всякую минуту выдать меня. А товарищи мои должны были в это время подобрать человек двадцать для этого дела, найти подходящую лошадь и опытного кучера и уладить сотню непредвиденных мелочей, неминуемых в подобном заговоре. Подготовления заняли уже около месяца, а между тем каждый день меня могли перевести обратно в дом предварительного заключения.

НА СВОБОДЕ!

Наконец день побега был назначен — 29 июня, день Петра и Павла. Друзья мои внесли струйку сентиментальности и хотели освободить меня непременно в этот день. Они сообщили мне, что на мой сигнал: «В тюрьме всё благополучно» — они ответят: «Всё благополучно и у нас», выпустив красный игрушечный шар. Тогда подъедет пролётка, и кто-нибудь будет петь песню, покуда улица свободна.

Я вышел 29 июня, снял шапку и ждал воздушного шара, но его не было. Прошло полчаса. Я слышал, как прошумели колёса пролётки на улице; я слышал, как мужской голос выводил незнакомую мне песню, но шара не было.

Прошёл час, и с упавшим сердцем я возвратился в свою комнату. «Случилось что-нибудь недоброе, что-нибудь неладно у них»,— думал я.

В тот день случилось невозможное. Около Гостиного двора в Петербурге продаются всегда сотни детских шаров. В этот же день не оказалось ни одного. Товарищи нигде не могли найти шара. Наконец они добыли один у ребёнка, но шар был старый и не летал. Тогда товарищи мои кинулись в оптический магазин, приобрели аппарат для добывания водорода и наполнили им шар; но он тем не менее упорно отказывался подняться: водород не был просушен. Время уходило. Тогда одна дама привязала шар к своему

зонтику и, держа последний высоко над головой, начала ходить взад и вперёд по тротуару, под забором нашего двора. Но я ничего не видел: забор был очень высокий, а дама очень маленькая.

Как оказалось потом, случай с воздушным шаром вышел очень кстати. Когда моя прогулка кончилась, пролётка проехала по тем улицам, по которым она должна была проскакать в случае моего побега. И тут, в узком переулке, её задержали возы с дровами для госпиталя. Лошади шли в беспорядке, одни по правую сторону улицы, другие по левую, и пролётка могла двигаться только шагом; на повороте её совсем остановили. Если бы я сидел в ней, нас наверное бы поймали.

Теперь товарищи установили целый ряд сигналов, чтобы дать знать, свободны ли улицы или нет. На протяжении около двух вёрст от госпиталя были расставлены часовые. Один должен был ходить взад и вперёд с платком в руках и спрятать платок, как только покажутся возы. Другой сидел на тротуарной тумбе и ел вишни; но как только возы показывались, он переставал. И так шло по всей линии. Все эти сигналы, передаваясь от часового к часовому, доходили, наконец, до пролётки. Мои друзья сняли также упомянутую выше серенькую дачу, и у её открытого окна поместился скрипач со скрипкой в руках, готовый заиграть, как только получит сигнал: «Улица свободна».

Побег назначили на следующий день. Дальнейшая отсрочка могла быть опасна: в госпитале уже заметили пролётку. Власти, должно быть, пронюхали нечто подозрительное, потому что накануне побега, вечером, я слышал, как патрульный офицер спросил часового, стоявшего у моего окна:

— Где твои боевые патроны?

Солдат стал их неловко вытаскивать из сумки; минуты две он возился, доставая их. Патрульный офицер ругался:

— Разве не было приказано всем вам держать четыре боевых патрона в кармане шинели?

Он отошёл только тогда, когда солдат это сделал.

— Гляди в оба! — сказал офицер, отходя.

Новую систему сигналов нужно было немедленно же сообщить мне. На другой день, в два часа, в тюрьму явилась дама, близкая мне родственница, и попросила, чтобы мне передали часы[1]. Всё проходило обыкновенно через руки прокурора; но так как то были просто часы, без футляра, их передали. В часах же находилась крошечная зашифрованная записочка, в которой излагался весь план. Когда я увидел её, меня просто охватил ужас, до такой степени поступок поражал своей смелостью. Жандармы уже разыскивали даму по другому делу, и её задержали бы на месте, если бы кто-нибудь вздумал открыть крышку часов, но я видел, как моя родственница спокойно вышла из тюрьмы и потихоньку пошла по бульвару, крикнув мне, стоявшему у окна:

— А вы часы-то проверьте!

Я вышел на прогулку, по обыкновению, в четыре часа и подал свой сигнал. Сейчас же я услышал стук колёс экипажа, а через несколько минут из серого домика до меня донеслись звуки скрипки. Но я был в то время у другого конца здания. Когда же я вернулся по тропинке к тому концу, который был ближе к воротам, шагах в ста от них, часовой стоял совсем у меня за спиной. «Пройду ещё раз! — подумал я. Но прежде чем я дошёл до дальнего конца тропинки, звуки скрипки внезапно оборвались.

Прошло больше четверти часа в томительной тревоге, прежде чем я понял причину перерыва: в ворота въехало несколько тяжело нагруженных дровами

---

[1] Теперь я могу сказать, что это была общественная деятельница, сестра жены моего брата, Софья Николаевна Лаврова, скончавшаяся за два месяца до русской революции. *(Примечание П. А. Кропоткина, написанное им в 1917 году.)*

возов, и они направились в другой конец двора. Немедленно затем скрипач (и очень хороший, должен сказать) заиграл бешеную и подмывающую мазурку Контского, как бы желая внушить: «Теперь смелей! Твоё время,— пора!» Я медленно подвигался к тому концу тропинки, который был поближе к воротам, дрожа при мысли, что звуки мазурки могут оборваться, прежде чем я дойду до конца.

Когда я достиг его, то оглянулся. Часовой остановился в пяти или шести шагах за мной и смотрел в другую сторону. «Теперь или никогда!» — помню я, сверкнуло у меня в голове. Я сбросил зелёный фланелевый халат и пустился бежать.

Задолго до этого я практиковался, как снимать мой бесконечный и неуклюжий балахон. Он был такой длинный, что мне приходилось таскать подол его на левой руке, как дамы держат шлейф амазонки. Несмотря на все старания, я не мог скинуть халат в один приём. Я подпорол швы под мышками, но и это не помогало. Тогда я решил научиться снимать его в два приёма: первый — скинуть шлейф с руки, второй — сбросить халат на землю. Я терпеливо упражнялся в моей комнате до тех пор, покуда научился делать это чисто, как солдат ружейные приёмы. «Раз, два!» — и халат лежал на земле.

Не очень-то доверяя моим силам, я побежал сначала медленно, чтобы сберечь их. Но едва я сделал несколько шагов, как крестьяне, складывавшие дрова на другом конце двора, заголосили: «Бежит, держи его! Лови его!» — и кинулись мне наперерез к воротам. Тогда я помчался что было сил. Я думал только о том, чтобы бежать скорее. Прежде меня беспокоила выбоина, которую возы вырыли у самых ворот, теперь я забыл её. Бежать, бежать! Насколько хватит сил!

Друзья мои, следившие за всем из окна серенького домика, рассказывали потом, что за мной погнались часовой и три солдата, сидевшие на крылечке тюрьмы. Несколько раз часовой пробовал ударить

меня сзади штыком, бросая вперёд руку с ружьём. Один раз друзья даже подумали, что вот меня поймали. Часовой не стрелял, так как был слишком уверен, что догонит меня. Но я удержал расстояние. Добежавши до ворот, солдат остановился.

Выскочив за ворота, я, к ужасу моему, заметил, что в пролётке сидит какой-то штатский в военной фуражке. Он сидел, не оборачиваясь ко мне. «Пропало дело!» — мелькнуло у меня. Товарищи сообщили мне в последнем письме: «Раз вы будете на улице, не сдавайтесь; вблизи будут друзья, чтобы отбить вас», и я вовсе не желал вскочить в пролётку, если там сидит враг. Однако, когда я стал подбегать, я заметил, что сидевший в пролётке человек с светлыми бакенбардами очень похож на одного моего дорогого друга. Он не принадлежал к нашему кружку, но мы были близкими друзьями, и не раз я имел возможность восторгаться его поразительным мужеством, смелостью и силой, становившейся неимоверной в минуту опасности.

«С какой стати он здесь? — подумал я.— Возможно ли это?»

Я едва не выкрикнул имени, но вовремя спохватился и вместо этого захлопал на бегу в ладоши, чтобы заставить сидящего оглянуться. Он повернул голову. Теперь я узнал, кто он[1].

---

[1] Это был доктор Орест Эдуардович Веймар, поразивший впоследствии всех своих смелым хладнокровием на перевязочных пунктах во время турецкой войны и скончавшийся от чахотки на каторге на Каре, куда его сослали в 1880 году, как народовольца. *(Примечание П. А. Кропоткина.)* П. А. Кропоткин ошибся — О. Э. Веймар не был народовольцем, он был близок революционерам, оказывал им много ценных услуг. Он был арестован весной 1879 года, ещё до образования партии «Народная воля». Содержался в той же Петропавловской крепости, а потом был переведён в Сибирь, на Кару, где и умер в 1885 году.



Великолепный призовой рысак, специально купленный для этой цели, помчался сразу галопом.

— Сюда, скорее, скорее! — крикнул он, отчаянно ругая на чём свет стоит и меня и кучера и держа в то же время наготове револьвер.— Гони! Гони! Убью тебя! — кричал он кучеру.

Великолепный призовой рысак, специально купленный для этой цели, помчался сразу галопом. Сзади слышались вопли: «Держи его! Лови!», а друг в это время помогал мне надеть пальто и цилиндр.

Но главная опасность была не столько со стороны преследовавших, сколько со стороны солдата, стоявшего у ворот госпиталя, почти напротив того места, где дожидалась пролётка. Он мог помешать мне вскочить в экипаж или остановить лошадь, для чего ему достаточно было бы забежать несколько шагов вперёд. Поэтому одного из товарищей командировали, чтобы отвлечь беседой внимание солдата. Он выполнил это с большим успехом. Солдат одно время служил в госпитальной лаборатории, поэтому приятель завёл разговор на учёные темы, именно: о микроскопе и о чудесах, которые можно увидеть посредством его. Речь зашла о некоем паразите человеческого тела.

— Видел ли ты, какой большущий хвост у ней? — спросил приятель.

— Откуда у ней хвост? — возражал солдат.

— Да как же! Во какой — под микроскопом.

— Не ври сказок! — ответил солдат.— Я-то лучше знаю. Я её, подлую, первым делом под микроскоп сунул.

Научный спор происходил как раз в тот момент, когда я пробегал мимо них и вскакивал в пролётку. Оно похоже на сказку, но между тем так было в действительности.

Экипаж круто повернул в узкий переулок, вдоль той самой стены, у которой крестьяне складывали дрова и где теперь никого не было, так как все погнались за мной. Поворот был такой крутой, что пролётка едва не перевернулась. Она выровнялась только

тогда, когда я сильно навалился вовнутрь и потянул за собой приятеля. Лошадь теперь бежала крупной красивой рысью по узкому переулку, и мы повернули налево. Два жандарма, стоявшие у дверей питейного, отдали честь военной фуражке Веймара. «Тише, тише,— говорил я ему, так как он был всё ещё страшно возбуждён.— Всё идёт отлично. Жандармы даже отдают тебе честь!» Тут кучер обернулся ко мне, и в сияющей от удовольствия физиономии я узнал другого приятеля.

Всюду по дороге мы встречали друзей, которые подмигивали нам или желали успеха, когда мы мчались мимо них на нашем великолепном рысаке. Мы выехали на Невский проспект, повернули в боковую улицу и остановились у одного подъезда, где и отослали экипаж. Я вбежал по лестнице и упал в объятия моей родственницы, которая дожидалась в мучительной тоске. Она и смеялась, и плакала, в то же время умоляя меня переодеться поскорее и подстричь бросающуюся в глаза бороду. Через десять минут мы с моим другом вышли из дома и взяли извозчичью карету.

Тем временем караульный офицер в тюрьме и госпитальные солдаты выбежали на улицу, не зная, что, собственно, делать. На версту кругом не было ни одного извозчика, так как все были наняты товарищами. Старая баба в толпе оказалась умнее всех.

— Бедненькие! — произнесла она, как будто говоря сама с собой.— Они, наверное, выедут на Невский, а там их и поймают, если кто-нибудь поскачет напрямик этим переулком.

Баба была совершенно права. Офицер побежал к вагону конки, который стоял тут же, и потребовал у кондукторов лошадей, чтобы послать кого-нибудь верхом перехватить нас. Но кондукторы наотрез отказались выпрягать лошадей, а офицер не настаивал.

Что же касается скрипача и дамы, снявших серенький домик, то они тоже выбежали, присоединились к толпе вместе со старухой и слышали, таким образом, её совет, а когда толпа рассеялась, они преспокойно ушли к себе домой.

ОТЪЕЗД ЗА ГРАНИЦУ

Был прекрасный вечер. Мы покатили на острова, куда шикарный Петербург отправляется летом в погожие дни полюбоваться закатом. По дороге мы заехали на далёкой улице к цирюльнику, который сбрил мне бороду. Это, конечно, изменило меня, но не очень сильно. Мы катались бесцельно по островам, но не знали, куда нам деваться, так как нам велели приехать только поздно вечером туда, где я должен был переночевать.

— Что нам теперь делать? — спросил я моего друга; который был в нерешительности.

— К Донону! — приказал он вдруг извозчику.— Никому не придёт в голову искать нас в модном ресторане. Они будут искать нас везде, но только не там; а мы пообедаем и выпьем также за успешный побег.

Могу ли я возразить что-нибудь против такого благоразумного предложения? Мы отправились к Донону, прошли залитые светом залы, наполненные обедающими, и взяли отдельный кабинет, где и провели вечер до назначенного нам часа. В дом же, куда мы заезжали прямо из тюрьмы, нагрянула часа два спустя жандармерия. Произвели также обыск почти у всех моих друзей. Никому не пришло, однако, в голову сделать обыск у Донона.

Дня два спустя я должен был поселиться под чужим паспортом в квартире, снятой для меня. Но дама, которой предстояло сопровождать меня туда в

карете, решила для предосторожности сперва поехать самой. Оказалось, что вокруг квартиры шпионы кишмя кишат. Друзья так часто справлялись там, всё ли обстоит благополучно, что полиция заподозрила что-то. Кроме того, моя карточка была в сотнях экземпляров распространена Третьим отделением между полицейскими и дворниками. Сыщики, знавшие меня в лицо, искали меня на улицах. Те же, которые меня не знали, бродили в сопровождении солдат и стражников, видевших меня в тюрьме. Царь был взбешён тем, что побег мог совершиться в его столице, среди бела дня, и он отдал приказ: «Разыскать во что бы то ни стало».

В Петербурге оставаться было невозможно, и я укрывался на дачах, в окрестностях. Вместе с несколькими друзьями я прожил под столицей в деревне, куда в то время года часто отправлялись петербуржцы устраивать пикники. Наконец товарищи решили, что мне следует ехать за границу. Но в шведской газете я вычитал, что во всех портовых и пограничных городах Финляндии и Прибалтийского края находятся сыщики, знающие меня в лицо, поэтому я решил поехать по такому направлению, где меня меньше всего могли ожидать. Снабжённый паспортом одного из приятелей, я в сопровождении одного товарища проехал Финляндию и добрался до отдалённого порта в Ботническом заливе, откуда и переправился в Швецию.

Когда я сел уже на пароход, перед самым отходом, товарищ, сопровождавший меня до границы, сообщил мне петербургские новости, которые он обещал друзьям не говорить мне раньше. Сестру Елену заарестовали; забрали также сестру жены моего брата, ходившую ко мне на свидание в тюрьму раз в месяц после того, как брат Александр был выслан в Сибирь.

Сестра решительно ничего не знала о приготовлениях к побегу. Лишь после того как я бежал, один

товарищ пошёл к ней, чтобы сообщить радостную весть. Сестра напрасно заявляла жандармам, что ничего не знает. Её оторвали от детей и продержали в тюрьме две недели. Что же касается моей свояченицы, то она смутно знала о каком-то приготовлении, но не принимала в нём никакого участия. Здравый смысл должен был бы подсказать властям, что лицо, открыто посещавшее меня в тюрьме, не может быть запутано в подобном деле. Тем не менее её продержали в тюрьме больше двух месяцев. Её муж, известный адвокат, тщетно хлопотал об освобождении.

— Мы теперь знаем,— сказали ему жандармы,— что она совершенно непричастна к побегу; но, видите ли, мы доложили императору, когда взяли её, что лицо, организовавшее побег, открыто и арестовано. Теперь нужно время, чтобы подготовить государя к мысли, что взяли не настоящего виновника.

Я проехал Швецию, нигде не останавливаясь, и прибыл в Христианию[1], где прождал несколько дней парохода в Англию, в Гулль. На досуге я собирал сведения о крестьянской партии в норвежском стортинге[2]. Отправляясь на пароход, я тревожно спрашивал себя: «Под каким флагом идёт он? Под норвежским, германским или английским?» Но тут я увидал на корме британский флаг, под которым нашло убежище столько русских, итальянских, французских и венгерских изгнанников. И я от души приветствовал этот флаг.

В Северном море ревела буря, когда мы подходили к берегам Англии, но я с удовольствием приветствовал непогоду. Меня радовала борьба нашего парохода с яростными волнами. Целыми часами проси-

---

[1] Христиания — так раньше называлась столица Норвегии Осло.

[2] Стортинг — парламент, высший орган власти Норвегии.

живал я на форштевне[1], обдаваемый пеной волн. После двух лет, проведённых в мрачном каземате, каждый нерв моего внутреннего «я» трепетал и наслаждался полным биением жизни.

Пароход наш зарывался носом в громадные волны, которые рассыпались белой пеной и брызгами по всей палубе. Я сидел на самом носу, на сложенных канатах, с двумя-тремя девушками-англичанками и радовался ветру, расходившимся волнам, качке, наслаждаясь возвратом к жизни после долгого кошмара и прозябания в крепости.

---

[1] Форштевень — крайний носовой брус, заканчивающий корпус судна.



ЧТО БЫЛО ПОСЛЕ ПОБЕГА

Так Пётр Алексеевич Кропоткин оказался на свободе.

Годы заключения не сломили его. Как и в царском дворце, так и в царской тюрьме он сумел остаться человеком.

П. А. Кропоткин думал пробыть за границей несколько недель, потом вернуться на родину и продолжать революционную работу. Но вскоре он убедился, что это невозможно. В России его сразу арестовали бы...

После долгих раздумий П. А. Кропоткин решил бороться за справедливое устройство жизни в странах Западной Европы. Он считал, что принесёт этим пользу и для России.

Он жил сначала в Шотландии, потом в Англии, в Швейцарии, во Франции, снова в Англии. На существование он зарабатывал статьями в разных научных журналах.

Но оказалось, что и в так называемых «свободных» странах вести революционную работу, бороться против капитализма за права трудящихся тоже вовсе не безопасно. Три года он просидел в тюрьме во Франции, не раз его высылали то из одной страны, то из другой.

Но ничто не могло поколебать его духа, его решения бороться за счастье людей.

Он неустанно призывал всех угнетённых восставать против своих угнетателей. Он писал и маленькие статьи в газетах, и большие книги.

Статьи и книги П. А. Кропоткина издавались на разных языках во многих странах Европы, Америки, Азии.

Из всех книг П. А. Кропоткина мы больше всего ценим его воспоминания — «Записки революционера». Это замечательная книга о жизни человека, который сдержал своё слово. Рассказ о Петропавловской крепости и побеге — глава из этой книги.

Более сорока лет провёл Пётр Алексеевич Кропоткин на чужбине. Но ни на минуту не забывал он о своей родине. И сразу же после свержения самодержавия, в 1917 году, он вернулся в Россию. Он был уже стар и болен. В 1921 году он умер. Это было в маленьком городе Дмитрове, под Москвой. А похоронен он в Москве, там, где родился.

Советский народ чтит память замечательного русского революционера и учёного. У нас издаются «Записки революционера». Именем Кропоткина назван город на Кубани, горный хребет в Сибири. Его имя носит улица и переулок в Москве, где он родился.

Каждый день тысячи людей, едущих в московском метро, слышат, как водитель поезда объявляет: «Станция «Кропоткинская»...»

Евгения Таратута

СОДЕРЖАНИЕ

Для младшего школьного возраста

Пётр Алексеевич Кропоткин

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ. ПОБЕГ

ИБ № 7611

Ответственный редактор *Г. И. Гусева.* Художественный редактор *С. И. Нижняя.* Технический редактор *Г. Г. Рыжкова.* Корректор *Л. А. Рогова.* Подписано к печати с готовых диапозитивов 13.12.82 г. Формат $60\times90^1/_{16}$. Бум. типогр. № 1. Шрифт литературный. Печать высокая. Усл. печ. л. 4,0. Усл. кр.-отт. 4,5. Уч.-изд. л. 2,77. Тираж 1 000 000 (500 001—1 000 000) экз. Заказ № 2157. Цена 10 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

Кропоткин П. А.

К83 Петропавловская крепость. Побег/ Вступление, заключение и примеч. Е. Таратута; Рис. О. Коровина.— 5-е изд.— М.: Дет. лит., 1983.— 62 с., ил.— (Книга за книгой).

10 к.

«Петропавловская крепость. Побег» — глава из книги «Записки революционера» Петра Алексеевича Кропоткина, замечательного революционера, известного учёного географа, путешественника.

К $\frac{4803010101-029}{М101(03)83}$ 234—83 **9(С)1**

10 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В 1983 году в серии «Книга за книгой»
для школьников младшего возраста выходят в свет
такие произведения фольклора и русских писателей-классиков:

ДЕТЯМ НА ПОТЕХУ.
Русские народные песни, загадки, пословицы

Мамин-Сибиряк Д. **СКАЗОЧКА ПРО КОЗЯВОЧКУ.**
«Из Аленушкиных сказок»

Толстой Л. **БЫЛИНЫ.**